

Антон ФОРТУНАТОВ

Родился в 1967 году в Горьком. Окончил истфил Горьковского государственного университета, служил в рядах Советской армии. Работал собственным корреспондентом газеты «Комсомольская правда» по Горьковской, Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областям, директором региональной телевизионной компании «Фортуна» («ВиД-НН»). С 1997 по 2002 год – советник губернатора Нижегородской области И.П. Складова по работе со средствами массовой информации.

С 2000 года преподает в Нижегородском госуниверситете им. Н.И. Лобачевского. Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой социально-политических коммуникаций Института международных отношений и мировой истории ННГУ.

Живет в Нижнем Новгороде.

ТАНГО С КИБОРГОМ

С какой мелодией ассоциируется у вас слово «танго»? Почти наверняка – с той самой, которая была написана 110 лет тому назад студентом уругвайского университета Херардо Эрнаном Матосом Родригесом. «Кумпарсита». Помните? Ну, конечно: Волк в «Ну, погоди!» танцевал ее с Зайцем на льду деревенского катка, пока в экстазе не пробил лед. Интернациональный язык – тела, страсти, захлестывающих эмоций – даже для мультяшных героев. Вне времени и пространства. Кажется, мы по-другому и не воспринимаем танго (впрочем, любой справочник поведаст о том, что этот танец родился в злочных кварталах Буэнос-Айреса).

Но так ли все однозначно? «Кумпарсита» ведет свое название от итальянского слова «компарса», то есть статисты, группа людей на заднем плане, массовка. В начале прошлого века эта невыразительная толпа вдруг начала обретать индивидуальные черты, превращаться в сообщество осмысленных людей, имеющих претензии на собственную уникальность, вернее, отстаивающих, выгрызающих свое право на непохожесть. Индивидуализм как новая, современная стадия коллективизма. Для нас, наверное, ближе Маяковский, экспрессивно выразивший это чувство: «Радуюсь я – это *мой* труд вливается в труд *моей* республики». Меня, кстати, всегда умиляло продолжение этой сентенции,

дополнительным удостоверением у нотариусов при юридическом сопровождении завещаний. Грустное, но важное подспорье! Но так случилось, что для демонстрации возможностей нового аппарата изобретатель не стал использовать чьи-то голоса, а взял невинную песенку «У Мэри есть маленький ягненок». Это был совершенно незаметный шаг в сторону музыкальной индустрии, с ее витальностью и натужным «шоу должно продолжаться».

Однако в 1938 году на Всемирной радиовыставке в Нью-Йорке Радиокорпорация Америки (RCA), ставшая спонсором нашего земляка-изобретателя телевидения В.К. Зворыкина, проводила опрос посетителей «нужно ли телевидение в повседневной жизни?». Около 90% респондентов отвечали тогда решительное «нет», потому что в тот момент публичное разглядывание чьего-то частного времяпровождения еще казалось занятием не очень пристойным, нарушающим культурные табу. Модерн долго штурмовал бастионы нравственности, которые, впрочем, после Второй мировой быстро превратились в руины человечности.

Кстати, о телевидении. Его изобретение, пожалуй, было одним из тех фатальных и бесповоротных шагов, жестко определивших развитие, вернее, угасание, разлом, самоотрицание технократической цивилизации. В конце XIX века после изобретения телеграфа, позволившего получать сообщения из-за океана в момент их свершения (первая строка, которую передал Морзе, – «чудны дела твои, Господи»), после фотографии и фонографа человечество вплотную приблизилось к техническому освоению времени и пространства с помощью телевидения. Каких только замысловатых технических идей не было в то время! Однако бесчисленные попытки имитировать человеческий глаз или хотя бы фасетчатое зрение стрекозы, остроумные фокусы с зеркалами никак не позволяли продемонстрировать на экране элементарное передвижение предмета из точки А в точку Б. Таинство человеческого мировосприятия не поддавалось технологическим алгоритмам. И тогда в 1883 году одного немецкого студента, Пауля Нипкова, посетила гениальная мысль: не нужно копировать биологические принципы, а следует создавать особенные, технологические приемы, позволяющие от начала до конца производить собственный, телевизионный механически-визуальный продукт.

Так возникла идея «развертки» – процесса расчленения видимого изображения на ряд отдельных, дискретных, обособленных элементов, которые можно было бы передавать по каналам связи и потом собирать, словно детский конструктор, словно массовку на очередном шоу, в целостные картинки, имитирующие обыденную действительность. Студент вряд ли был прирожденным философом, но он удивительно точно уловил саму суть технологического освоения мира: каждый инструмент в руках человека обладает конкретной областью применения, и чем локальнее, четче эта область, тем эффективнее технология, призванная добиться очевидного, зримого результата. Спустя сто лет Элвин Тоффлер подведет итог этим процессам в своей культовой «Третьей волне»: «мы начинаем знать все больше о все меньшем». Это как раз о техническом мировоззрении: копаться в деталях в прямом и переносном смысле – это значит не видеть и не хотеть видеть ничего за пределами локальной технической задачи. Перфорированный диск Нипкова, вращавшийся перед освещенным объектом, прочерчивал по нему невидимые лучики-штрихи, которые фиксировала светочувствительная аппаратура, передававшая эти конкретные сигналы по каналам

связи. Это была не фиксация реальности. Это было ее утверждение, формирование здесь и сейчас!

Нипкова провозгласили гением, а мир постепенно, шаг за шагом, начал упиваться расчлененкой, самым фактом наведения камеры на объект уничтожавшей его, обездушивавшей, превращавшей в потенциальный холодец, который, будучи впоследствии воссозданным на экране перед зрительской аудиторией, удивительным образом воплощал собой мимолетность, конечность, неуловимость настоящей, неискусственной жизни. Вот от чего страдали Северянин, Гумилев, Брюсов! В фашистской Германии устраивали «просмотровые залы» в момент берлинской Олимпиады, в которых демонстрировались телевизионные события спортивных состязаний. Восторг и экстаз многочисленных зрителей был связан не только и не столько с гордостью за победы спортсменов-нацистов, сколько с причастностью к священнодействию – торжеству технологий над человечностью. Прогрессизм и модерн не имели смысловой альтернативы. Жизнь на экранах возникала будто бы из ничего.

Помните, как бежали первые зрители братьев Люмьер от приближавшегося к ним виртуального поезда? Для меня эта мизансцена символизирует безусловное торжество технологий, которые, невзирая ни на что, мчатся куда-то своей дорогой, а человек должен им ее уступать, прятаться, уходить в сторону. Подчинение общественного сознания этой новой, вычурной, искусственной логике проходило мучительно, впрочем, достаточно быстро. Уже спустя 20 лет после нелюбимых ответов посетителей Нью-Йоркской выставки телевидение станет самым массовым, тотальным, вернее, тоталитарным средством пропаганды и искажения реальности. И когда Карлсон в хрестоматийном советском мультике будет искренне изумляться тому, как представительный мужчина-диктор улыбочиво что-то вещает с экрана, хотя половины туловища у него фактически нет, мы будем умиляться наивности этого детского персонажа и даже не подозревать, что толстый чудак с пропеллером окажется едва ли не последним гуманистом на этом истерзанном поле битвы технологий и правды. Ведь воссозданным с помощью логики нипковской развертки картинам всегда чего-то недостает, и эта недосказанность и недодуманность превращаются в то, что измученные, истерзанные философы конца XX века называли «дискурсом» – пространством смыслов и логических принципов, в котором развивается общественная мысль.

Канадский медиафилософ, апологет телевизионной эпохи Герберт Маршалл Маклюэн в интервью журналу «Плейбой» (ну а где еще?) радостно переворачивал все с ног на голову: «Я называю эту своеобразную разновидность самогипноза “Нарциссическим наркозом” – синдромом, при котором человек не замечает психогенных и социальных последствий новых технологий в той же мере, в какой рыба не замечает воды, в которой плавает».

Вообще, многочисленные прививки технологизма, которые получало общество на рубеже XIX–XX веков, привели к тому, что сознание превратилось в податливый пластилин, на котором кто-то нетрепетной рукой мог запечатлеть какие угодно истины. «Партия сказала – комсомол ответил: “Есть!”», и никаких тут больше рассуждений не требуется, потому что сомнения – это декадентская роскошь, а нужно действовать, быть эффективным, безудержным как те технологии, которые «ведут общество» к светлым и таким, кажется, достижимым – вот-вот, еще небольшое усилие – далям! «Через четыре года здесь будет город-сад!»

Жуя промокший хлеб (так и хочется сказать «вкусно – и точка!»), человечество упивалось экстазом модерна, все больше погружаясь в технологические химеры, которые на поверку оказывались очередным «проектом», отрицающим самое себя, потому что обновление технологий происходило нарастающими темпами. Танго все больше втягивало в свой вихрь очередную «компарсу», надсадный вой скрипок уже сменился электронным звучанием, и только ритм – ритм усиливался и ускорялся, и не было ни сил, ни желания остановиться...

Нравственный, смысловой излом конца XIX века сопровождался целым рядом эстетических направлений, которые превращали модерновое расчеловечивание в эстетический манифест – как преклонение перед мощью и безусловностью нового мира. Взять хотя бы экспрессионизм, провозглашавший важнейшим своим принципом отказ от жизнеподобия как воплощения буржуазной либеральности. Не стоит большого труда погуглить и внимательно рассмотреть художественные образцы этого искусства – изломанные человеческие силуэты на фоне урбанистических руин: Карл Хофер, Макс Бекман. А ведь в сравнительно небольшой исторической перспективе перед этим было другое художественное течение, также подспудно отвечавшее на неявные, но грозные вызовы Нового времени, – сентиментализм, делавший опору на приоритет чувства взамен разума, провозглашавший культ неспорченности, отношение к природе как живому организму, способному откликаться на состояние человека. В качестве иллюстрации мне тут приходит на ум картина Владимира Лукича Боровиковского «Лизынька и Дашинька» (1794 г.) – такие милые, наивно-открытые женские лица.

Однако и отрицание технологического молоха, и заигрывание с ним никак не отсрочили ужасных последствий XX века, с его ипритом, Герникой, Ленинградом, Хиросимой. «Смирись, гордый человек» Достоевского, как апелляция к нравственному усилию, сменилось сегодняшней обреченной опустошенностью, когда индивиду уже все равно, а «гордый» сегодня реализует себя на омерзительных «голых вечеринках», искренне считая себя созвучным «нерву времени». «Крупный план сродни порнографии», – когда-то прозорливо утверждал французский философ Жан Бодрийяр. Однако кому до этого есть дело, если появление твоей одутловатой физиономии во всей полноте кадра есть единственный и годами испытанный залог успешности? Что-то, видимо, предчувствовали посетители Нью-Йоркской выставки – что-то, что абсолютно недоступно сегодняшнему мировосприятию!

И вот посмотрите на современные блоги! Это же экспрессивный сентиментализм, когда отсутствие правдоподобия умножается на душераздирающую сентиментальность. Только «Лизынька и Дашинька» заменены сегодня котиками и «ми-ми-ми», а экспрессионизм – это и есть отрицание самого человека: недавний хайп вокруг фотографий за секунду до смерти, приносящих несколько тысяч или даже сотен лайков обреченному «герою», все эти бесчисленные жестокие сцены, которые выкладывают молодые преступники в сеть, издеваясь над сверстниками или нападая стайками (компарсами) на одиноких и беззащитных пожилых людей, – что это, как не безусловная, тотальная капитуляция человечности (правдоподобия) перед логикой (этикой не поворачивается язык сказать) технологий? «Расчлененка» стала обыденным языком – тем, что не нужно специально осваивать. Он – в буквальном и переносном смысле – в крови у современных поколений, проводивших свое детство перед экранами телевизоров и компьютеров.

Еще в восьмидесятые годы немецкие социологи пришли к выводу, что зритель перед телевизором получает до 100 сцен насилия в день. Но, как известно, если человеку 100 раз сказать, что он свинья... Один из «мэтров» отечественного ТВ в порыве откровения как-то признал, что в состоянии сделать лошадиный круп самым популярным персонажем нашей культурной жизни. Что ж, опыт, как говорится, не пропьешь. «Сентиментальное путешествие» Лоренса Стерна как литературное воплощение сентиментализма сегодня сменилось блогами «тревел-маньяка» Сергея Анашевича, снимающего свои «путешествия» на фоне войн и человеческих трагедий.

Одним из эстетических воплощений Нового времени был культ скорости. Чем стремительнее двигался куда-то человек, тем ярче и счастливее рисовалась его перспектива. Статика, неспешность представлялись воплощением убогости, серости и уныния. Технологии позволяли получать искомый результат здесь и сейчас без мучительных размышлений о методах, способах, путях его обретения. Кнопка «вкл.» стала воплощением обыденной магии – чик, и готово! Загорелся экран телевизора, и ты в одночасье оказался на знойном берегу Карибского моря несмотря на снежный хаос январских нижегородских реалий. Включил смартфон, и запотелые окна переполненной маршрутки в час пик стали порталом на эстрадный концерт какой-нибудь поп-дивы на другом краю света. И поскольку все, что ты видишь на экранах гаджетов, считается заведомой правдой, эти изображения обретают дополнительный символизм – как отражение твоего Я, как нечто заведомо большее, чем просто ты сам. Чик – и готово: нет человека!

Тот же Маклюэн в свое время провозглашал сакраментальное: «медиум – это мессидж». То есть любой носитель информации становится самостоятельной коммуникативной ценностью, потому что упаковывает изображение в немного загадочный, символический образ – заведомо более сильный (хоть и недосказанный, а потому и воспринимаемый теперь как загадочный и многозначительный), чем все твои убогие фантазии. Разве ты в состоянии совершить триллион логических операций в секунду? Твой ум настолько обленился, что ты уже не можешь без калькулятора перемножить два двузначных числа. А компьютер – легко! Значит, сиди и потребляй! Мир вокруг живет по законам технологий – они быстрее, а значит, как они сами утверждают, – умнее. Никто особо этому не сопротивлялся, а даже наоборот, – многие находят в этом неизъяснимый кайф. Беспечность стала нормальным, естественным этическим фоном для социальной жизни. Все равно все завтра переменится, так зачем же бунтовать?

Вот, например, камера снимает симпатичную девушку. Достаточно чуть-чуть сменить ракурс, и ее лицо превращается в уродливый плоский блин или наоборот – вытянутую, высокомерную сосульку. Наученная горьким опытом сетевых насмешек и въедливой критики (в сети мельчайшая деталь становится гигантским бревном в вашем глазу), девушка уже знает, каким боком повернуться к сверлящему ее объективу. Это у нее – «рабочая сторона», которая чаще всего передает миловидность. Мы уже не замечаем, что все наше сознание давно перестало быть отражением целостного, уникального мира: одни «рабочие стороны» для тех или иных ситуаций. Камера стала и полицейским, и судьей, и судебным приставом, поскольку сама выносит приговоры, а ее вердикты требуют неукоснительного выполнения.

Это как-то само собой произошло: еще недавно она казалась воплощением художественного освоения мира (помните это священнодействие с магниевыми вспышками на старинных фотоаппаратах?), а теперь вдруг обрела самостоятельность и беспристрастность. «Смирись, гордый человек!» Теперь к ней добавился еще и искусственный интеллект, благодаря которому твой внутренний мир превратился в набор дискретных элементов, и жестокие, бесстрастные, с рыбьими глазами «аналитики» начинают знать о тебе заведомо больше того, в чем ты даже сам себе можешь признаться. Танцевавшая в 1914 году компарса упивалась своей самоценностью, возможностью выражать, не стесняясь, свои эмоции. Но теперь человечество попало в жесткие объятия киборгов, и, возможно, ему бы и хотелось остановиться, но поди попробуй: остается лишь подчиняться и изображать безудержный эротизм, потерявший, впрочем, свою ценность и значение. Любовь из-под палки – еще то удовольствие.

В 70-е годы прошлого века некоторые технари-идеологи из военных ведомств США, занимавшиеся разработкой ARPANET – предшественника нынешнего интернета, провозгласили доктрину начинавшейся цифровой эпохи: мозг человека – это совершенный компьютер. Эта невинная с виду идея была, в общем, логическим следствием развития технологий, но она оказала гигантское влияние на все мироустройство рубежа тысячелетий. Никто не оспаривает права технооптимистов считать нас хитроумными роботами. Все зависит от ракурса: компьютер стали представлять как инструмент человеческого освобождения от «гнета и условностей» прогнившего социального мира. Стив Джобс – тот самый культовый основатель Apple – вошел в историю американской рекламы с роликом «1984», обыгрывавшим антиутопию Джорджа Оруэлла: дескать, с новым компьютером «Макинтош» никакой 1984 год, с его тоталитарной слежкой и контролем за людьми, не сможет состояться. Я даже не буду иронизировать по поводу этой зловещей шутки. Обращу внимание на другое: не компьютер делали совершенным, взяв в качестве идеала человека, а наоборот: людям объясняли, что вычислительная железка и есть островок счастья и культурного идеала, к которому следует стремиться. Компьютеры даже называли «респектабельным наркотиком» XX века – дескать, настолько сильно они якобы отрывали человека от пресной обыденной действительности.

Что в результате? Медленная, неуклонная деградация мозга, общих когнитивных свойств были движением навстречу этому «идеалу», который, в свою очередь, увеличивал скорость вычислений и объем хранимых данных. Очень скоро суперкомпьютер научился обыгрывать чемпиона мира по шахматам, правда, он же готовить яичницу даже на уровне Гарри Каспарова был не в состоянии. Но ликование по поводу скорой победы искусственного интеллекта надо всем, что связано с человеческой иррациональностью (то есть нерасторопностью, аутизмом), как всегда, накрывало общественное сознание – всю эту липкую, пластичную субстанцию, поддающуюся любым воздействиям извне. Инфантильная привычка доверять тому, что видишь перед собой крупным планом, детская тяга к обладанию – все то, чему всячески потакали коммуникативные новинки прошедшего столетия, – привели к негласному закону: имеет смысл только что-то, что можно увидеть. Изображение становится меновой монетой, товаром, которым можно расплачиваться на рынке тщеславия. «Синдром Барби», уколы ботокса, надутые губы и силиконовые протезы стали неотъемлемым элементом

«индустрии красоты». В ней, как нигде, ценность бытия была заменена ценностью обладания. Человек сам стал товаром – одним из многочисленных упакованных, разложенных на полках, в более или менее броских обертках (шмотках) элементов современной «гуманитарной индустрии».

Коммуникативные системы, вооруженные искусственным интеллектом, заточенным на то, чтобы находить изъяны в индивидуальном мировосприятии, сделали непреложным закон: самая важная информация – это та, что не требует интеллектуального напряжения, которая движется и мелькает перед тобой, имитируя многообразие жизни. Вы уже обратили внимание: «продвинутые» технологические гиганты перестали сопровождать свои гаджеты многословными инструкциями? Все сводится к элементарным пиктограммам и символам, как будто бессмысленным туземцам белые небожители объясняют назначение «подаренных» им бус. Тиктокеры объясняются друг с другом жестами, не требующими специальных разъяснений. Вот сейчас, когда пишу эти строки, в сети «завирусился» очередной челлендж: смешивают водку с маслом и намазывают этой субстанцией бутерброды. Приколжно же! А значит, ничего больше и не надо.

Мощь и тоталитаризм этой пестрой индустрии информационных развлечений проявляет себя и в новой форме цифрового остракизма. Отключение человека от визуальных каналов превращает его в ничтожество, в букашку, в абсолютный ноль – это более чем ярко продемонстрировала голливудская волна «культуры отмены». Я с тревогой наблюдаю процесс насильственной, целенаправленной атаки технотронной цивилизации на Россию, с ее попыткой превратить нашу культуру и общество в визуальных изгоев. Однозначный визуальный ярлык «вечно агрессивного», нецивилизованного медведя, и эта печать, поставленная на общественном сознании, кажется владельцам ликующего коммуникативного мира тавром, залогом того, что мы никогда не сможем расправить плечи. И здесь – не только конкретные, сиюминутные политические интересы. Ярлык ставится не на нашем социокультурном статусе. Пытаются уничтожить, высмеять, отменить присущую русскому сознанию целостность мировосприятия, глубинное противодействие вот этой фрагментированности, разрозненности, единичности впечатлений, которые составляют суть западного мышления и одновременно приговор ему. Вот с чем идет война на самом деле! Отмене подлежит право на сомнение, на инаковость, на возглас – «Король-то голый!»

Когда Зворыкин изобретал телевидение, он мечтал о съемках оборотной стороны Луны, об открытиях в таинственных глубинах Мирового океана. Он вообще был романтиком, готовым пожертвовать жизнью ради идеалов, ради мечты. От него уходила жена в периоды невзгод. Он попадал в передряги с ЧК, совершал путешествия за океан из колчаковской армии и вновь возвращался обратно несмотря ни на какие соблазны остаться в мирной жизни. Он приезжал в Советский Союз, рискуя быть арестованным (его об этом предупреждал Госдеп), чтобы прочитать лекции землякам-инженерам об электронной развертке. Он был человеком слова, данного самому себе. Может, поэтому так преуспел? Но как только инвесторы превратили его в «отца-основателя» ТВ, вознесли на пьедестал, он сразу ушел в тень, во внутреннюю эмиграцию, повторяя, что самым главным элементом любой телевизионной системы является кнопка «выкл.».

Его полная драматизма и настоящих, невыдуманных приключений жизнь, как мне представляется, очень хорошо иллюстрирует идею «всечеловечности» русского характера, о которой в 1880 году (в самый разгар эпохи технологических изобретений!) говорил Достоевский на открытии памятника Пушкину. Никакому другому национальному сознанию не присуща эта пластичность, эта эмпатийная открытость к чужой культуре, понимание ее как своей собственной, как органичного, неотъемлемого элемента личного мировосприятия. У Набокова, кажется, есть эмигрантское воспоминание-эпизод о том, что русские таксисты в Париже, бывшие в основном эмигрантами-белогвардейцами, устанавливали новые этические правила, когда ни одна случайно оставленная вещь в машине не пропадала, и невзначай утерянные деньги возвращались хозяевам, как бы скучно и трудно ни жил водитель.

В основе национального отношения к миру лежит чувство (его можно по-разному интерпретировать, называть, идентифицировать – любовь, ощущение своего достоинства, вера в добро и Бога и т. д.) – здесь ключевое слово как раз «чувство», а не рациональные доводы, рассудочные построения, которые препарируют событие на ряд компонентов. Человек смотрит глазами, но воспринимает увиденное сердцем. Первую часть процесса гениально смог трансформировать в технологию немецкий студент Пауль Нипков. Но вторую – ту, что не подлежит визуальным спекуляциям, которая всегда в стороне от суетливой мишуры злободневных историй, – никак не в состоянии оценить те, кто пытается наклеить на нас политические ярлыки. Они быстры, прогрессивны, они играют желваками под восторженные взгляды экзальтированных дам, и им, плененным собственным прогрессизмом, русское сознание кажется чем-то глубоко наивным, медлительно-инертным, заведомо аутсайдерским и даже скотски-туповатым. Они нам про постмодерн, а мы им про любовь. Они нам про мультигендерность, а мы опять про то же самое, набившее оскомину, как будто ничего нового и придумать не можем. Они готовят себя – не нас, к тому, что агрессивное животное следует – если не уничтожать, то загонять в гетто, изолировать от «цивилизованного мира». Нагнетая вокруг наших границ истерию войны, они нас самих хотят заставить замкнуться, почувствовать себя в осажденной крепости, задернуть железный занавес в своем сознании по отношению к западному миру. Принести себя в жертву.

Мы им про гуманизм, а они нам – про гедонизм. И хохочут еще, повторяя, как мантру, что человека давно уже «отменили», что «субъекта нет», что «объекта нет» и что бытие – лишь иллюзия, которую легко зашифровать в облачные технологии компании Microsoft. И когда мы им, зарвавшись, начинаем показывать свою силу, они прикрывают глаза наманикюрными пальцами и кричат, что русский медведь проявляет свое нецивилизованное нутро и что его навсегда следует приструнить. Все эти войны, начиная с Наполеона, на самом деле были столкновениями мировоззрений: с одной стороны, Новое время, технологизм и нарастающее современное ощущение жизни, а с другой – сконцентрированный в сгустке переживаний пафос любви, прощения, надежды сквозь страдания, слезы и непонимание. Мы – вечная боль для Запада, неостывающий упрек в его меркантильности.

Обреченность на непонимание, кстати, в русской душе есть необходимый элемент ее всечеловечности, потому что не может чужое сознание позволить себе принять свое отражение в русском как свое собственное Я, ведь в этом случае ему придется отказаться от этого

вот мельчания, расчленения мира на дискретные фрагменты, на обреченное стремление обнаружить Вселенную в обрывке вчерашней газеты. Это разные миры, несводимые друг к другу измерения – такие же, как царапающее привычный взгляд левостороннее движение в Великобритании или американские дюймы взамен традиционных сантиметров. И да, они искренне считают нас насекомыми, потому что мы не умеем так же эффективно и четко ввергать массы то в восторг, то в ненависть, то в истерику, то в блаженство. В России если любить, то на разрыв аорты, если ненавидеть – то с тем же эффектом. Зачем все это западной цивилизации, с ее уверенностью в неизбежность и четкую прогнозируемость технологического рая, где человек – уже не человек, а киборг, где мозг – и есть продвинутый компьютер, ну а вместо сердца – нет, не «пламенный мотор», а «возобновляемый источник энергии»?

Танго – очень сложный танец, в котором инициатива переходит от мужчины к женщине и обратно. В этом его эротизм, драйв, непредсказуемость, азарт. А если один из партнеров киборг? Кем должен считать себя его визави? Сверхчеловеком? Пассивным ничтожеством? Технологии говорят сегодня с нами от имени западной цивилизации, которая, неловко почесывая бороду и переминаясь на неудобных шпильках, никак не может решить для себя сущность танца – это гендерное проявление (а значит, скрытый деспотизм – они так сейчас понимают отношения полов) или всего лишь игра? Это имитация иллюзии или все-таки реальное действие? Социальные сети все сильнее поддаются воздействию эротических теней искусственного интеллекта, набирая немислимое количество лайков и фолловеров: откровенные дивы, нарисованные (де)генеративным разумом, могут даже рассылать «нюдсы» за скромное вознаграждение, и эта проституированность технологий все сильнее возвращает нас в порочные и злачные места Буэнос-Айреса начала XX века, в которых якобы родилось танго – танец для осознавшей себя компарситы. Только теперь она, упакованная в сетевые технологии, вновь схлопывается в невыразительную, серо-безликую массу, способную лишь имитировать страсть, неловко похотывая над неуместностью любых, самых невинных проявлений чувства. Фатальность и ужасная бесперспективность Запада состоит в том, что он перестает быть для нас интересным, поскольку отдал на откуп киборгам свою идентичность: «выбрасывается, как голая проститутка из горящего публичного дома...», внушая самой себе страхи о России. Вот почему им так важно, чтобы мы боялись их, боялись себя.

Вот в чем гениальность Маяковского! Как раз в воплощении, в соединении в себе этих самых разных полюсов. В обыкновенной механике между ними рождалась бы искра, звучали бы взрывы и полыхали короткие замыкания. А в поэтическом русском сознании звучит целостность. Облачные вычислительные технологии, породившие искусственный интеллект и всю эту фатальную античеловечность, у меня ассоциируются со знаменитым «Облаком в штанах». Помните, как оно начинается?

Вашу мысль,
мечтающую на размягченном мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окровавленный сердца лоскут:
досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

Русский коммунизм – это проявление всечеловечности во всей ее полноте и незащитности. Это умение, органичное и непринужденное, славить партию и одновременно говорить о безысходном одиночестве. «Пропитое лицо Северянина» здесь вовсе не грубое ругательство, а неизменный элемент бытия – взгляд со стороны «единицы» на неуклюжее, недовольное утраченной гармонией «целое». Здесь нет ничего противоестественного, если помнить о любви, о погруженности в чувство, о неподвижном, застылом, удивленно-наивном ощущении счастья от сопереживания с Богом и с другими людьми. Политика не имеет значения. Технологии – тоже. Многое теряет свою грандиозность по сравнению с правдой всечеловечности. ИКЕА может сколько угодно уходить с рынка и потом вновь возвращаться. Мы будем ей рады, будем сожалеть об очередном, неизбежном развороте, но эти движения равным счетом ничего не изменят в нашем ощущении самих себя, на какой бы неказистой мебели мы при этом ни сидели.

У этого чувства нет визуального образа. Вот у Рильке наоборот:

Господь! Большие города
обречены небесным карам.
Куда бежать перед пожаром?
Разрушенный одним ударом,
исчезнет город навсегда.

Наша эсхатология она – о любви. О граде взыскующем. О надежде. А у технологической эсхатологии выхода нет:

...и умирать подолгу на постели
как в богадельне или как в тюрьме.

– единственная перспектива, очень четкая и безжалостно внятная.

Русский логос и русский этос, кажется, уже просклоняли на все лады, превратив почти что в пародию все то, что скрывается под сердцем. Основы российской государственности стали предметом спекуляций и интерпретационных ухищрений. Все из-за недосказанности, невыраженности русской идеи. Мы привыкли, еще начиная с Петра, смотреть на себя чужими глазами, рефлексировать по поводу своей представленности в чужой культуре. И постоянно сравнивать, сравнивать, еще раз сравнивать с чужими «образцами», находя, конечно, все новые и новые изъяны в себе, чувствуя себя «тяжеловесными» и «неуклюжими».

На границе Нижегородской области и Республики Марий Эл есть село Юрьино, и в нем – замечательный, яркий Шереметевский замок. Он даже с Волги виден, когда плывешь по ней на круизном корабле. Этот замок изнутри напоминает многочисленные европейские дворцы, ну, скажем, мюнхенский Нимфенбург, построенный королем Людвигом – тем самым, что воздвиг памятник самому себе, замок Нойшванштайн в горах (его абрис – на заставке диснеевских фильмов, как образ сказочного строения). Только во всем облике Шереметевского поместья видна какая-то тяжеловесность, приземленность, этакая устойчивая материальность. Это как, к примеру, дулевский фарфор сравнивать с каким-нибудь майсенским: немецкие-то чашки на свет можно разглядывать, видеть их прозрачность, а в Дулеве бросаются в глаза именно толстые стенки – стукнешь по лбу, точно не разобьется. И, конечно, сразу возникает повод позубоскалить: вот, дескать, какая в России культура – массивная.

А я представляю себя на месте Василия Сергеевича Шереметева. Он покупает поместье в глуши, в непроходимых лесах, с мечтой построить там замок. Какая блажь! Если доедете от Юрьева до Йошкар-Олы, увидите там местный кремль – он мне почему-то напоминает прообраз Белогорской крепости в «Капитанской дочке». Какие-то тонкие стены. И пушки, пушки, пушки. В гарнизоне Петруши Гринева мортира была одна, а здесь множество – ошестившиеся, готовые дать отпор полудиким языческим племенам, не особо преклонявшимся перед «наследием Европы». Культура в России, в отличие от Запада, распространялась так сказать, почкованием – самоотверженным трудом дворян, которые как могли несли образцы европейского миропонимания, что называется, «в массы», здесь и сейчас, на местах, посаженные царем, не особенно рассчитывая на взаимопонимание с местным окружением. До утонченности ли? До прозрачных ли чашек майсенского фарфора? Эти «очаги» тлели и разгорались каждый по-своему, но все равно их объединяло нечто общее – самоотверженное служение внутри не очень дружелюбного мира и попытка – во что бы то ни стало – наладить диалог с ним. И декабристы в Сибири жили по тем же принципам, воспринимая ссылку как культурную миссию. Тем, собственно, и спасались.

Вот в чем разница, скажем, с идеей американского «фронтiera», обозначавшего границу «цивилизации», которую огнем и мечом надо отодвигать все дальше, уничтожая сопротивление индейцев. Их фронтiera сегодня – это границы России, столь же неведомой и дикой, как и земли гуронов, потому что мы живем в собственных измерениях, видим мир по-другому. И разве что не носим скальпы у себя на поясе, хотя, кажется, после ухода Гуччи и Прады должны, по их глубокому убеждению, уже щеголять лишь в набедренных повязках. Всечеловечность же позволяла видеть в самых угрюмых проявлениях нецивилизованности отблески разума, и, может быть, именно поэтому Пушкин стал великим поэтом – ведь только в такой среде любая инаковость становилась кирпичиком в общем здании гармоничного, целостного восприятия мира. Запад себе такого позволить не мог: вспомним, что творили англичане в Индии или Китае.

Танго с искусственным интеллектом русскому сознанию не очень интересно. В этом и есть парадокс: целеустремленное нагнетание на Западе истерии по поводу нового промышленного уклада, повторение, как мантра, слов про послушное, малообразованное и пассивное большинство, которое требуется окоротить, поставить в зависимость от умных машин, – все это не очень ложится на наше сознание, в котором всегда есть место для прощения слабых, для того, чтобы протянуть руку помощи, а не добивать упавшего. То есть все дело в «оптике», как говорили некоторые французские постмодернисты, или в этике, ценностях, способах представления себе самому мира, в котором ты живешь.

Конечно, опаздывать нельзя. Кажется, уже совсем скоро можно будет представить себе ситуацию, когда, к примеру, два боксера на ринге, прежде чем сойтись в кровавом мордобое, будут пускать на «препати» искусственные интеллекты, которые, быстро обменявшись информационными данными о состоянии бойцов, заранее объявят о победе, которую одержит наиболее подготовленный из них. Никаких синяков, никакого пота и бесконечных раундов. Безрисковость и стерильная безошибочность – это ведь идеал западной цивилизации!

Право на ошибку, право на риск, казалось бы, на корню уничтоженные за прошедшее столетие в современном миропонимании, оказываются

похожими на те самые па, которые совершали истосковавшиеся по теплу представители аргентинского плебса, выражавшие тем самым протест, неповиновение, надежду, ярость, любовь. Изъян технотронного мозга, прямолинейного взгляда из точки А в точку Б – это невозможность взглянуть на мир, на проблему с другого ракурса, отрицание самого факта существования альтернатив. Искусственный интеллект постоянно наступает на ноги своему партнеру – то ли оттого, что у него шестой палец еще совсем недавно удалили из пятерни (и из стопы, я надеюсь), то ли оттого, что механический танец – это все-таки топтание на месте, а не выражение чувств. Опаздывать нельзя, но и нельзя превращать гонку с искусственным интеллектом в самоцель. Скорее, в игру, в тонкое, самурайское любование прихотливостью и изломом линий человеческой красоты на фоне лязгающего, пестрящего насилием и ужасами измельчавшего мира.

Самый главный приз технологий в борьбе с человеком – это наше сознание, его окончательное и тотальное порабощение. Казалось бы, еще чуть-чуть, и оно полностью превратится в компьютерную программу, в «софт», который можно будет выгружать «на внешние носители». 100 следов, оставленных тобой в интернете (заходов на сайты, лайков под постами, задержке внимания на тех или иных сообщениях), уже достаточно для того, чтобы сделать самый тщательный, наиболее глубокий психологический портрет, который невозможно создать традиционными методиками – изошренными тестированиями и интервью. Но мы никогда не были так свободны, как сегодня, – ведь цифровые интеллектуальные системы наивно полагают, что знают о нас все.

Одной из важнейших границ между искусственным интеллектом и человеком является не скорость мышления, как нам всячески пытаются показать, а граница между правдой и вымыслом, между иллюзией и человеческой, невыдуманной реальностью. Лукавство робота состоит в том, что любую химеру он может представить как абсолютную реальность, аргументируя, нажимая именно на те струны, которые позволяют человеку поверить в выдумку. Это означает, что тотальная погруженность в логику ИИ играет с теми, кто подверг себя этому испытанию, злую шутку: верить машине – значит, обманывать самого себя. «Ах, обмануть меня нетрудно...» Но проблема состоит в том, что ИИ сегодня пытается копировать внешние стороны человеческого поведения, явные, заметные проявления его мысли. И – деградирует вместе с теми, кто полностью ему доверяет.

Стремительный, ускоряющийся бег Нового времени начался с того, чтобы облегчить человеку, в его антропологической, телесной оболочке, отношения с окружающим – грозным, непонятным, враждебным, суровым – внешним миром. И сегодня тело, опираясь на электронные костыли и «умные» экзоскелеты, превратилось в пассивное, разлагающееся от своей неподвижности нечто, а кибергуманизм, победив человека в его биологическом статусе, принялся за его сознание – за его иллюзии об «образе и подобии Бога». Сознание тоже предлагается понимать как беспомощное существо, которому «трудно совладать» с гигантскими объемами информации, а потому его нужно снабжать «мыслительными механизмами». Ну, словно тех же пионеров-первопроходцев в Северной Америке, «удачно» использовавших ружья и пушки против томагавков. Эсхатологические прогнозы по поводу искусственного интеллекта, собственно, опираются как раз на недоверие человека к себе самому, на представление о беспомощности,

о заведомой ничтожности, грубости, лености «мыслящего червя». А ведь всего лишь надо поменять «оптику»: многочисленные способы оценки мыслей через внешние проявления могут помочь индивиду обнаруживать леность, браваду, скупость, жестокость, ненависть, зависть – там, где они еще только-только дали ростки в душе, еще не проявили себя во всем махровом цвете, и, соответственно, побороть их, сделать-ся лучше. Другими словами, компьютер может помочь человеку стать образом и подобием Божиим, а не деградировать до уровня мыслящего железа.

Как, каким образом? Да вот, хоть через игру. Все эти западные теории (Хейзинга, Берна) воспринимали игру лишь как несерьезную форму культуры. А ведь на деле человек за тысячелетия выработал с ее помощью приемлемый способ узнавать о границах – между добром и злом, между правдой и вымыслом, между честью и бесчестьем и т. д. Игра позволяла видеть то, что спрятано в повседневности под мишурой косноязычных лозунгов и лукавых сентенций. И чем больше болтовни, мелочного, тщательного копания и препарирования деталей, тем больше соблазн уйти в игру, где все ясно и прозрачно. Вот почему так привлекательны новые многопользовательские геймы для молодых людей: современная компарса стремится к правде, прячась от прессинга скучных и устарелых «общественных технологий», пытаясь сохранить остатки личной уникальности, подчиняясь суровым требованиям социума.

...Написал эти строки и понял... что мы победим. Всечеловечность – это еще и мистическое умение собирать разбросанные там и сям смыслы в единый образ. Сам факт его собирания говорит об идеалах, об их присутствии в нашей жизни несмотря ни на какой прагматизм и ужимки искусственного интеллекта. Оптиинские старцы завещали нам «молиться, верить, терпеть, прощать и любить». Каждое по отдельности это действие, может быть, и будет когда-то сымитировано искусственным интеллектом. Но вот так, чтобы все вместе, через боль и надежду, – вряд ли. А потому – пусть витийствуют, пусть сочиняют новые пугалки. Пусть! Мир, удивительно хрупкий и фиалково-нежный, по-прежнему наш. Потому что умеет скрежетать зубами и отвечать, да так, что оголтелой Моське на шпильках и с бакенбардами мало не казалось. Любовь масштабнее самых причудливых гендерных инноваций.